

МЕНАХЕМ-ЦЫГАН

РАССКАЗ

Каждой осенью, в короткие, поминальные по мужскому лету дни в притихший, обморочный Йонамиестис на старых повозках, заляпанных сдобной дорожной грязью, приезжали бог весть откуда (то ли из Белостока, то ли из Кенигсберга) незванные гости — цыгане. На заросшем сиротливыми кустиками жухлой травы пустыре над Вилией они выпрягали своих усталых и послушных лошадей и, раскинув выцветшие на солнце, латанные-перелатанные шатры, принимались из битого кирпича сооружать временки-каменки для приготовления своей нехитрой снеди. Кое-как устроившись на облюбованном месте, пришельцы в одиночку и группками отправлялись на привычный промысел в местечко — мужчины за гроши лудить прохудившиеся медные тазы и кастрюли, еще пахнувшие брусничным или малиновым вареньем, а женщины с малолетними детишками на руках — предсказывать на ломаном польском или на изуродованном немецком каждому желающему его близкое и далекое будущее. Работы у лудильщиков было хоть отбавляй — не то что у гадалок. Евреи, опасавшиеся пускать чужаков на порог, ни в каких предсказаниях не нуждались — они знали, что, как пелось в расхожей песне, ничего хорошего ни в настоящем, ни в будущем их не ждет: в понедельник — картошка, во вторник — картошка и через десять лет тоже картошка, и потому только отмахивались от назойливых ясновидиц. В отместку за отказ услышать о дальней, счастливой дороге и золотых горах, о бубновых королях и пиковых дамах ворожеи под шумок ухитрялись умыкнуть то простодушную безнадзорную хохлатку, то приглянувшуюся байковую рубаху или ситцевую блузку, сушившиеся на веревке, а то и похрюкивающего на подворье соседки-литовки подсвинка — сунул в торбу, и поминай как звали. На воришек никто жаловаться и не думал. Жалуйся, не жалуйся, все равно в кутузку никого не упекут.

— Засади их в тюрьму, расходы на них будут куда больше, чем ущерб от воровства, — уверял осведомленный во всех тюремных тонкостях единственный страж порядка в Йонамиестисе Пятрас Гаршва. — Ну съедят обворованные одной курочкой или одним поросеночком меньше. Что за беда? Вот если бы цыгане, скажем, у господина бургомистра угнали автомобиль немецкой марки, как когда-то его любимца — английского рысака. Тут уж, поверьте, угонщику влетело бы как следует. Помните, сколько впаяли за это вашему сородичу? — хитро прищурившись, вопрошал, бывало, словоохотливый Гаршва, и его мохнатые, тронутые изморозью, брови напуганными ласточками мигом взлетали вверх. — Пятерочку! Тогда о Менахеме-цыгане все столичные газеты — и «Литовские новости», и «Двадцатый век» писали, пожалуй, больше, чем о наших летчиках-героях, которые из Америки перемахнули на своей «Литуанике» через океан.

— Как же, как же, помним, — без запинки угодливо привирал обласканный вниманием полицейского сапожник Гедалье Казацкер, к которому Гаршва частенько забегал обогатить свой скудный идиш, выученный за долгие годы общения с евреями, и при случае согреться дармовой чаркой кошерной наливки. — Мы Менахема-цыгана и после смерти не забудем.

— После чьей смерти?

— Как это чьей? После его, конечно. Что там говорить — знаменитость! Были у нас и пророки и цари, но евреев-конокрадов в помине не было. Не сойти мне с этого места, их и вовсе бы не было, — клялся льстивый Казацкер, — не вздумай этот бесшабашный Менахем угонять рысака нашего бургомистра. Вы, господин Гаршва, человек умный — иначе бы не служили в полиции, а день-деньской подбивали бы, как я, грязные подметки, — скажите на милость, зачем нам, евреям, которые, можно сказать, с детства и до гробовой доски ходят пешком, чужие лошади? Каждому известно — землю мы не пашем, ни за кем галопом не гоняемся, сидим себе тихонечко за колодкой или за швейной машинкой, чтобы заработать на субботнюю халу и фаршированную рыбу. Зачем, спрашивается, нам чужие лошади, да к тому же английской породы?

Еврейские вопросы всегда ставили Гаршву в тупик. Не успеешь выкорчевать один, как тут же отрастает дюжина таких же каверзных.

— Это правда, землю вы не пашете и ни за кем, слава богу, на рысаках галопом не гоняетесь, и если бы вашему Менахему не вздумалось угонять рысака господина бургомистра, все было бы по-другому, — бормотал захмелевший Гаршва. — И ради кого он пустился на эту авантюру? Ради дочки рабби Иехезкеля Голды? Ради мельниковой внучки Хаси? Ради вашего поскребыша — Песи?

— Ради моей Песи пока никто никого не угонял. Дай-то бог, чтобы еще при моей жизни нашелся охотник, который бы угнал ее вместе с приданым. Какая дурь втемяшилась Менахему в голову, что он вместо того, чтобы обменяться обручальными кольцами с еврейкой, увязался за дикаркой, имени которой толком-то не знал, и из первого жениха в округе стал первым евреем-конокрадом...

— Говорят, эта цыганка и по сей день ему покоя не дает. Как только услышит за окнами скрип ихних колес, так он ноги в руки и — на косогор к табору.

— Не дает, к сожалению, не дает, — подтвердил вечный кивальщик и поддакиватель Гедалье Казацкер. — Если бы он втрескался в какую-нибудь из ваших — Ону или Гражину, это куда бы ни шло. Пусть они и другой веры, но свои, здешние. А у цыган какая вера? Они только в воровство верят. И где это слыхано, чтобы нормальный еврей менял свой дом на табор.

— Раз бежит, значит, тянет его...

Гаршва, конечно, хватил через край — Менахем-цыган давно на косогор не бегаёт. С такими болячками, как у него, не очень разбежишься. Он еще в тюрьме подхватил какую-то паскудную хворь — то ли легкие прохудились, то ли печень подвела. Из-за нее, из-за этой хвори, он целыми днями не выходил из дому. Сидел на колченогом, грубо сколоченном стуле и с утра до вечера, молча, не мигая, смотрел в засиженное мухами окно, и никто не знал, что он там, кроме щербатой, расцвеченной алыми коровьими лепешками мостовой, высокого неба, забеленного медленно и прощально плывущими облаками, щедрого на тепло солнца да пролетающих над бескрылым местечком птиц, видит. Правда, никто и не отваживался у него допытываться — каждый волен видеть все, что ему хочется. Господь даже мухе дал глаза, чтобы та могла полюбоваться не только помоями в ведре и мусором на свалке, но и недосыгаемыми, голубыми небесами. Допытайся у Менахема, не допытывайся, все равно из него ничего путного, как из застывшей на подоконнике задумчивой мухи, не выжмешь. Все слова давным-давно опали с его уст, как по осени листья с вяза, и ветер унес их невесть куда.

Может, Менахем-цыган видел себя, как прежде, здоровым и смелым, мчащимся на угнанном рысаке из заскорюзлого Йонамиестиса в дальний край, где воли больше, чем счастья, и где измена страшней, чем гибель; может, смотрел в окно и переговаривался с ангелами или подбирал для себя облако, чтобы, поднявшись ввысь, закутаться в него, как в саван, и навсегда растаять в предвечернем мареве...

Еще совсем недавно Менахем ни о каких дальних краях не думал, не то что с ангелами — со своими одногодками не разговаривал и в облака не кутался. Зимой и летом ходил с открытой нараспашку грудью, купался в сердобольные литовские морозы в коварных прорубях Вилии, был мастеровит, умел шить одежду и подбивать подметки, плотничать и красить стены, складывать печи, рыть колодцы. В местечке злословили, что он умеет делать все, кроме детей.

— У тебя — что, нечем?

— Есть чем, но не с кем, — отшучивался Менахем.

— Как это не с кем? Девушки за тобой табунами ходят. А ты от них нос воротишь. Выбирай любую! Не выберешь — бобылем останешься, запаршивеешь без женщины, — подтрунивал над ним Гедалье Казацкер, отец засидевшейся в девках Песи.

— Ты что, не знаешь, что в холостяцкой постели черви заводятся? — подначивал его мельник Ошер Ривкин. — Если долго не будешь пользоваться своим пестиком, он, чего доброго, у тебя заплесневеет и тоже превратится в сморщенного червячка.

Упрямого Менахема уговаривал даже степенный рабби Йехезкель, который без всяких колебаний выдал бы за него свою старшенькую Голду и отписал бы молодожену дом.

— Каждый еврей должен оставить на земле еще одного еврея, — поучал его рабби, когда тот приходил пилить для молельни дрова на зиму, чистить во дворе колодец или просто молиться. — А ты, Менахем, по-моему, мог бы, с Божьей помощью, увеличить их число не на одну единицу, а на целый миньян... Чего же ты, красавец, ждешь?

— Любви, рабби, любви, — отвечал Менахем, который и без Божьей помощи мог бы настругать их с десятков. — Мало, чтобы тебя любили, важно, чтобы и ты отвечал тем же...

Рабби Йехезкель был великом знатоком Торы, но в любви он мало чего смыслил, ибо больше всех на свете любил не преданную ему Черну, а Господа Бога, который, к счастью, был не женщиной и любви которого никогда не надо было ждать. Любовь Господня была с ним всегда и всюду: днем — на амвоне, а по ночам — в супружеской постели. Старик слушал Менахема, покачивал головой, усыпанной нетающими снегами времени, не то порицая его, не то воодушевляя.

Менахем и впрямь до тюрьмы был жених на загляденье — черные, густые, как колесный деготь, волосы; широкие, крепкие, как кладбищенские плиты, плечи; голубые, как у христианина, глаза. С ним заигрывали и рослые, мускулистые, созревшие для соблазна и утех литовки, которые ласково, на свой лад называли его Миколюкас. Встретят где-нибудь на улице или у реки, и давай искушать:

— Миколюк, приходи завтра на маевку... Научим тебя клум-пакойис танцевать! И кадрили! И польку! Не бойся, не тронем, домой вернешься целехоньким. Ха-ха-ха!.. А если и тронем — еще спасибо скажешь. В чужом саду яблочки слаще. Ха-ха-ха!.. Правда, Антанина?

— Правда, правда, Казе! Слаще! Ха-ха-ха!

— Приходи, Миколюк, на Заячий лужок. Не пожалеешь...

В местечке тревожно и злорадно перешептывались: начнет, мол, с кадрили или польки, а кончит крещением в костеле. Такое в Йонаместисе уже случилось. Сын аптекаря Менделя Левина надкусил яблочко из чужого сада и вскоре из Мотла стал Мотеюсом Левинкасом, и сменил бархатную ермолку на серебряный нательный крест.

Менахем ни на какие призывы не откликался, внимания на подковырки не обращал, на Заячий лужок не ходил, в чужие сады не забирался и если с кем-то и водил дружбу, то только с сиротой Брахой, хромоножкой, служившей нянькой и кухаркой у многодетного рабби Йехезкеля; защищал ее от поклепов и злых оговоров, будто она, невенчанная, вот-вот понесет от него и родит мамзера-байстриюка. За глаза ее в Йонаместисе называли дурочкой, блаженной, но Браха ни на кого

не таила зла, улыбалась каждому встречному и поперечному своей беззащитной и неброской улыбкой, убеждая не столько других, сколько самой себя, что любить должно не только того, кто тебя любит, но и того, кто тебя не любит. Разве река не поит всех — даже сбрасывающих в нее навоз и гниль, разве деревья не шелестят для всех — даже для ломающих их ветки и обдирающих их кору, разве птицы не тешат своим сладкозвучным пеньем всех — даже тех, кто держит их годами в неволе? Господь Бог никого и никогда не осуждает за любовь. Только за ненависть и злобу.

Это она, Браха, ничего дурного не подозревая, в один из осенних дней невольно свела Менахема с той, из-за которой вся его прежняя жизнь пошла кувырком.

— Знаешь, с кем сейчас рабби Иехезкель разговоры ведет? Ни за что не угадаешь.

— Ну?

— С цыганкой из табора.

— Ну?

— Она за один лит согласилась рассказать про его судьбу. Рабби лит дал, но от гадания отказался.

— А что — разве он и по-цыгански понимает?

— Нужда заставит — и по-птичьи запоешь. Цыганка, оказывается, говорит на идише. Плохо, но понятно. Рабби сказал ей — всё, что человек должен знать про свою судьбу, уже давно написано в Торе. Там, мол, ясно сказано о том, что было тысячи лет тому назад, что произойдет через мгновение и что случится через тысячи лет... Другая после этого не стала бы ему досаждать и ушла бы, но эта и бровью не повела..

— Если рабби Иехезкель сам не решается ее выпроводить, может, помочь — кликнуть ее. Пусть лучше мне за лит погадает и скажет, что меня в ближайшее время ждет, — неожиданно выпалил Менахем.

Он и сам не смог бы объяснить свой внезапный и бездумный порыв, тем более, что ни в какие гадания не верил. Что это было — то ли неутоленное любопытство, то ли подспудное желание узнать о себе то, что от других вряд ли когда-нибудь узнаешь.

— Она, между прочим, красивая, — просто, без всякой зависти, скорее с какой-то застенчивой гордостью, словно речь шла о ней самой, — сказала Браха. — Таких красавиц я сроду не видела. Даже во сне.

Брахины слова еще больше раззадорили Менахема. Кем-кем, а писаными красавицами Йонамиестис похвастать не мог...

— Чего ж она там так долго?

— Наверно, все-таки пытается уломать старика. Я своими ушами слышала, как она говорила, что цыгане знают то, чего нигде пером не написано и никто, кроме них, на свете не знает.

— Может, и впрямь знают.

— Рабби Иехезкель не привык выгонять пришельцев. Пока не накормит, не расспросит, есть ли у них крыша над головой, не отпустит. Кто, кроме него, оставляет на ночь открытой дверь для бездомных и гонимых? Наш рабби, даруй Господь ему долгие годы, не так боится того, что его ограбят или убьют, как того, что не успеет вовремя кому-то прийти на помощь.

Наконец цыганка вышла.

Она и впрямь была красива какой-то диковатой, дразнящей красотой — высокая, смуглолицая, белозубая, в длинной, широкой юбке, увешанной вдоль пояса аляповатыми блестками, в цветастом платке, из-под которого выбивались отливающие глазурью черные пряди; крупные лунообразные серьги, которые при ходьбе позвякивали и сверкали в ушах, как ломти диковинных заморских плодов. У нее

была стремительная походка — она передвигалась, как лесной зверек, прыжками, словно одновременно высматривала и подстерегающую опасность, и свою очередную жертву. Цыганка скосила свои большие, цвета вишневого варенья, глаза сперва на хромоножку Браху («Ну, ей, бедняге, с колыбели уже всё нагадали»), потом задержала взгляд на стройном, молодцеватом Менахеме («Этот красавчик вполне может сойти и за цыгана») и, смекнув, что ничего на них не заработает, собралась было пройти мимо, как ее остановил мужской голос:

- Меня зовут Менахем.
- А меня Ильда.
- Можешь мне погадать?
- Почему бы нет? Я гадаю всем, кто платит.
- Я заплачу, — пообещал тот, кто мог сойти за цыгана.
- На картах или по руке?
- По руке.
- Но деньги, милый, наперед.
- Сколько с меня?
- Со всех по литу.

Менахем полез в карман и достал оттуда денежку.

Ильда долго рассматривала монету, переворачивала с боку на бок, спрятала ее куда-то в безразмерную юбку, потом своей окольцованной загорелой рукой взяла пятерню Менахема и нараспев, перемешивая осколочный идиш с шипучим польским, принялась с каким-то глухим неистовством нашептывать что-то про предстоящую любовь Менахема к пиковой даме, которая скоро явится и воспламенит его одинокое сердце, как молния в поле стожок соломы; про счастье, которое он потеряет, если ради любви не отречется от всего, что было ему дорого до встречи с прекрасной незнакомкой.

Браха слушала Ильду с почтительным испугом, удивляясь ее напору и уверенности, а Менахем смотрел то в бездонные, омутные глаза ворожеи, то на ее окольцованную руку, заразительное тепло которой растекалось по всему его телу и вызывало какое-то безотчетное томление и смутную и непривычную тревогу.

— Фартик! (Готово!), — низким, грудным голосом сказала Ильда. Лучшего будущего ни у кого за лит не купишь, — и рассмеялась.

Рассмеялся и Менахем, не заметив, что все еще держит ее за руку.

— Руку-то мне, красавчик, верни. Рука моя, золотко, стоит намного дороже, чем гаданье.

И снова рассмеялась.

Менахем смутился и отдернул свою пятерню

— Прощай! — пропела Ильда и поспешила к другим домам за новой данью... А страстной любви, несметного богатства и дальних дорог у нее было припасено для всего местечка.

— Понравилась она тебе? — тихо спросила Браха и, не дожидаясь ответа, добавила: — Жаль, что не еврейка. Тогда ты на ней уж точно бы женился.

— Глупости, — бросил он, не возразив, однако. — С чего ты взяла?

— Так мне показалось...

Слова Брахи ошеломили его. Хромоножка своим женским чутьем ревниво угадала то, что вертелось у него в голове и в чем он стеснялся самому себе признаться. Хотя чего стесняться? Разве Господь спрашивал, какого Ева роду-племени, цыганка она или еврейка? Всевышний никаких дознаний ей не устраивал, соединил с Адамом и благословил. Почему же Он не может сделать то же самое с ним и Ильдой?

Не успел Менахем расстаться с ворожеей, как вновь стал бродить по местечку и искать с ней встречи. Стоило ей выйти из какого-нибудь дома, где она за лит

предсказывала золотые горы и кучу детей, как он тут же подкрадывался сзади и по-мальчишески звонко восклицал:

— А мне погадаешь?

Прохожие евреи оглядывались на его окрики и с немым состраданием крутили боевым указательным пальцем у виска или назидательно доили свои пейсы.

Ильда испуганно оборачивалась и, увидев Менахема, принималась хохотать на всю улицу...

— Я тебе уже всё нагадала.

— Не все, не все. Что-то ты все равно утаила. Ведь утаила? Давай еще раз.

И так изо дня день.

— Я тебя, красавчик, разорю... Денег на меня не хватит.

— Хватит, хватит. А не хватит, банк ограблю!..

Менахем мягко и настойчиво втягивал Ильду в эту непонятную и небезопасную игру, исподволь как бы приручая, и та не противилась его забавным шалостям, а зачастую даже их своим хохотом поощряла. Пока платит, пусть шалит. Его ухаживания льстили ее самолюбию и скрашивали нищенские, однообразные будни. Приученная с детства всё оценивать трезво, извлекать из всего, пусть малую, выгоду, она нисколько не сомневалась в том, что как только табор стронется с места и покинет это замурзанное местечко, ее игра с этим прилипчивым воздыхателем навсегда закончится — он, наконец, уразумеет, что оседлому еврею к цыганке приставать нечего. Еще не было такого случая, чтобы евреи женились на цыганках, а цыганки выходили за евреев. В Польше какая-то сумасбродная цыганка попыталась нарушить священный завет предков, и отец за это забил ее до смерти плетью. Достанется Ильде, если в таборе пронюхают про ее шашни с Менахемом. Что с того, что он похож на цыгана? Воробы с соколами вместе не летают. Еврей не станет всю жизнь кочевать по белу свету, мотаться из одного местечка в другое, из одной страны в другую, он ни за что не променяет свою крытую дранкой или черепицей крышу на дырявое осеннее небо, и цепи, которыми он прикован к своей лавке и синагоге, к цирюльне и к столярной, на голодную свободу и бесприютную волю.

Ильда никогда не забывала наставлений деда:

— Бог создал человека, а ветер — цыгана. Нынче тут, завтра там...

При встречах с Менахемом ей на неподатливом идише или на невнятном польском недоставало слов для того, чтобы растолковать ему, что она издавна назубок усвоила от своих предков — держаться подальше от чужих, не верить никаким их посулам и клятвам, не ждать от них никаких милостей — иначе беды не миновать. Неровен час, поддашься, девочка, нахлынувшему чувству — и жестоко и непоправимо за него заплатишься...

Бабье лето шло к концу. Расположившийся на косогоре табор готовился не то к возвращению в Польшу, не то к переезду на зимовку в Германию, еще сулившую оскудевшее тепло. По вечерам цыгане жгли костры, и их яркие сполохи ложились на сонные, съезжившиеся дома погашенного Йонамиестиса. С косогора над Вилией до местечка нет-нет да долетали обрывки тягучих, просмоленных мглой, цыганских песнопений и тоскливое конское ржанье.

Ильда больше в местечко с косогора не спускалась, и Менахем уже не надеялся ее встретить. Сам он в табор приходит не решался — придешь и живым оттуда не уйдешь. Но вдруг, в одно пасмурное утро, перед самым отъездом Ильда сама появилась в местечке и принялась возле синагоги подкарауливать Менахема.

— А я-то думал, что вас уже ветром сдуло, — удивился он, когда столкнулся с ней у ворот молельни. — Вы что — не уезжаете? Остаетесь?

Он уже готов был выплеснуть на нее обуявшую его радость, но Ильда своей хмуростью как бы умерила его пыл — мол, не радость меня сюда привела, а беда.

— Цыгане нигде не остаются. Приходит срок, и мы отовсюду уезжаем.

Она помолчала и через мгновение уже не так резко выдохнула:

— Уедем и отсюда. Если, конечно, кто-нибудь поможет.

— А что случилось?

— Зоська пала...

— Зоська?

— Наша лошадь. А без лошади цыган как без рук и без ног. А нас в семье шестеро — отец, мать, три сестренки, мал мала меньше, да старенькая больная бабушка...

— Я бы рад, — опешил Менахем. — Но у нас дома только кошка и три курицы с петухом.

— Курицу в повозку не впряжешь. Нужна лошадь.

— Да, но где ее взять? Балагула Шая своего битюга не даст. С могильщиком Иосифом и говорить нечего — его кляча еле ноги тянет...

— Следующей осенью, когда приедем снова, мы вернем ее хозяину. Это неправда, что все цыгане — воры. Если сможешь, то всё, что я тебе нагадала, сбудется. Честное слово.

— Я подумаю, — сказал Менахем, не связывая себя обещаниями.

— Табор уходит послезавтра утром, — стараясь скрыть свое недовольство, помрачнела Ильда. — Цыгане не думают, а действуют. А вы думаете, думаете и ничего не делаете. Поэтому вас и не любят.

— А вас не любят за то, что вы делаете, — огрызнулся. Менахем.

— А мы в чужой любви не нуждаемся. И ни у кого ее не клянчим!— Ильда вдруг повернулась и вприпрыжку, как вспугнутый зверек, обиженно зашагала прочь...

Всю ночь Менахем ворочался с боку на бок и мысленно повторял ее слова о чужой любви, в которой они не нуждаются, и спорил с Ильдой до самого утра. Она, видно, считает его трусом, не способным на поступок, достойный настоящего мужчины... Но он ей докажет, что это не так. Докажет, что в чужой любви нуждаются все, даже собаки.

Под утро он отправился на окраину к конюшне бургомистра, выпилил лобзиком из деревянной двери замок, нырнул в хлынувшую темень и осторожно вывел бургомистрову лошадь, боясь, что та, почуяв запах чужака, заливисто заржет и выдаст его.

Уже светало, когда Менахем неуклюже взобрался на рысака и помчался во весь опор к табору.

Табор спал. Услышав конский топот, из шатров то тут, то там стали высовываться их обитатели и с недобрым любопытством разглядывать седока на неоседланной породистой лошади.

— Я ищу... паняле...(барышню) Ильду, — выдавил Менахем.

— Ильду Бальцеревич? Их шатер там. Второй с краю, — буркнул кто-то из зевак.

Возле крайнего шатра бугрилась свежая могила, в которую, видно, зарыли павшую Зоську.

— Паняле Ильда! — несмело позвал Менахем. — Паняле Ильда! — его голос ломался от растерянности и нетерпения.

Долго никто не отзывался, и Менахем уже подумывал спешиться, привязать рысака к оглоблям повозки, в которую была свалена упряжь Зоськи, и, заметая следы, лесной тропой вернуться в местечко.

Но тут из распахнутого шатра выскользнул высокий, дородный цыган с пышными, как бы вывязанными из шерсти усами и коротко и зло сказал:

— Ильда спит. Что господину угодно?

— Передайте, что я ее просьбу выполнил.

— Какую просьбу? — неласково спросил усач.

— Пригнал для вашей семьи эту лошадь.

— Ильда! — закричал тот, — Ильда! К тебе какой-то господин. — И, не дождавись дочери, юркнул в шатер.

Вскоре показалась заспанная Ильда.

— Ой! Менахем! Что я вижу? Лошадь! Живая лошадь! — Она бросилась к нему, схватила за руку и быстро и лихорадочно поцеловала. — Ты...ты настоящий цыган!.. — пролопотала. — А теперь уходи! Слышишь — уходи, пока мой отец не прирезал обоих...

— Счастливо, — выдавил Менахем .

Когда он обернулся, то увидел, как Ильда прильнула щекой к огромной, теплой голове лошади и стала что-то жарко и благодарно ей шептать. Рысак понятливо качал головой, и его лохматая грива шелестела над Ильдой, как плакучая ива.

Поиски похищенного вороного поручили единственному стражу порядка в Йонамиестисе Пятрасу Гаршве, но все его старания оказались напрасными. Кроме впавшего в многолетнюю и безмятежную спячку чешского браунинга на тощей заднице, никаких средств для поимки похитителей у него не было. Потерпевший бургомистр несколько раз звонил сыщикам в Каунас, но такие происшествия их сейчас не очень-то заботили и волновали. До рысака ли, когда немцы объявили войну соседней Польше, а русские по навязанному договору под гром оркестров вошли в Литву и разместили в ней свои воинские базы и гарнизоны.

Через сутки после угона Менахем явился в полицию с повинной.

— Ай-ай-ай! Такой серьезный молодой человек, и вдруг конокрад... Зачем ты, дуралей, это сделал? Разве твой дед гончар Нохем крал лошадей? Разве твой отец, столяр Лейзер, ночами выпиливал дырки в чужих дверях? Еврей может на пол-лита надуть любого, даже его превосходительство президента, недоплатить в казну налоги, не долить в корчме водки, недодать в лавке сдачи или продать покупателю не весенней свежести селедку. Но врываться в конюшню и красть лошадь?! Фэ!

Суд над гражданином Литовской Республики Менахемом Лурье был скорый и справедливый. Как взломщика и вора, угнавшего у официального лица лошадь английской породы, его приговорили к пяти годам заключения в каторжной тюрьме. И куковать бы ему в ней на нарах весь срок от звонка до звонка, вспоминая за решеткой цыганский табор, Ильду с ее бесовскими чарами, бездонными, как омут, глазами, если бы в одночасье в Литве не сменилась власть, и в тюрьме не появились бы следователи в чужеземной форме с невиданными знаками отличия и не принялись бы сортировать и отсеивать заключенных.

— За что, голубчик, сидишь? — спросил его по-литовски веснушчатый офицер в новехонькой форме и с красной звездой на фуражке...

— У бургомистра нашего местечка лошадь угнал. Хотел помочь одному попавшему в беду семейству, — воспрял духом Менахем.

— Лошадь? У бургомистра? Да за это же, голубчик, тебе не отсидка положена, а высокая правительственная награда... медаль за проявленное милосердие. Ты, можно сказать, против нашего классового врага — буржуев пошел.

— Да не пошел я против... Просто так вышло. Я...

— Ладно, — перебил его горбоносый и рукавом мундира вытер со лба блестящие росинки следователского пота. — Твоя фамилия Лурье?

— Правильно. Менахем Лурье.

— Так вот что, товарищ Лурье: собери свои манатки, и на выход!

Когда Менахем вернулся в местечко, там уже прежнего бургомистра не было — на своем заграничном автомобиле он заблаговременно укатил в Тильзит к немцам. Не шлифовал больше казенными ботинками улицы Йонамиестиса и дозорный Пятрас Гаршва, высматривавший лишнюю кошерную рюмку: Советы у него отняли потертую кобуру с чешским браунингом, и каждый божий день он аккуратно заливал свое безысходное горе не кошерной наливкой у Гедалье Казацкера, а хуторским самогоном.

Выпущенного из тюрьмы Менахема в местечке встретили холодно и даже враждебно. Еще бы — взял и опозорил всех перед всем миром. Теперь куда ни пойдешь, куда ни поедешь — всюду слышишь: ах, эти йонамиестские конокрады!

Только хромоножка Браха и престарелый рабби Йехезкель не отвернулись от Менахема — всячески помогали ему поскорей оправиться от каторги и подлечить дырявые легкие.

— Не осуждайте его! Добро в одиночку не ходит, — уверял противников Менахема рабби, умудренный жизнью и не склонный к окончательным приговорам. — Чтобы сделать доброе дело, человеку иногда приходится брать и зло в компаньоны...

Браха поила его разными целебными отварами, готовила для него еду, обстирывала, защищала от дурной молвы, а рабби Йехезкель все время подыскивал для него какое-нибудь занятие — то попросит половницы в синагоге перестелить, то окна застеклить, а то и сколотить для богомольцев новые скамьи.

Благоволит к «политзаключенному» и новый помощник бургомистра — брат сапожника Гедалье Казацкера — коммунист-подпольщик Хаим по прозвищу Рыжий. По его подсказке Менахема как борца против угнетательского строя избрали в какой-то местечковый совет трудящихся, но избранника ни советы, ни дурная молва, ни наставительные беседы с рабби Йехезкилем не занимали. В свободное от работы время Менахем сидел дома и неотрывно смотрел в окно, а в погожие дни отправлялся подышать свежим воздухом на косогор, где последний раз виделся с Ильдой. Тут, на пустыре, под открытым небом, он мог под миротворное журчанье Вилии без всяких помех предаваться воспоминаниям. Иногда он засыпал на осеннем солнышке, и ему снились цыганские шатры, раскинутые на пустыре; неоседланная вороная лошадь, спокойно прядущая мшистыми ушами; утренний жар Ильдиных губ, обжигающих своим прикосновением его, Менахема, шершавую руку; огромные, как луны, латунные серьги, позвякивающие в тишине — динь-динь-динь; Ильда, шепчущая ему на ухо по-цыгански какие-то слова. Менахем силился понять их потайной, будоражащий смысл, который ускользал от него, как только она их произносила. В сон на цыпочках входила верная Браха, поила его каким-то сладким и дурманящим зельем, а он у нее как будто спрашивал, как по-цыгански любовь. — «Как и на идише», — с придыханием отвечала Браха. «На всех языках любовь — всегда любовь». Менахем просыпался и растерянно оглядывался — вокруг носились и жужжали шмели, по небу плыли легкие перистые облака, и в самое близкое из них, которое висело над ним, он кутался, как в саван, и таял вместе с ним в предвечернем мареве...

Осень шла за осенью, но после смены старой власти табор в Йонамиестисе больше ни разу не появился.

— Границу с Польшей перекрыли. Сюда никого не пускают. Но говорят, в Кедайняй какие-то цыгане объявились, — стараясь утешить Менахема, сказала как-то чуткая Браха.

Ее слова приободрили беднягу, и он подумал, не съездить ли ему в Кедайняй — от Йонамиестиса туда было рукой подать. Но тут один за другим из жизни ушли его родители. Отец — в сентябре сорокового, а мать через два месяца — на Хануку. А потом... потом началась война русских с немцами, и всем стало не до цыган.

На улицах местечка снова утвердился Пятрас Гаршва, правда, в штатском, без чешского браунинга на заднице, но зато с белой нарукавной повязкой и заряженным автоматом наперевес.

Вместе со своими дружками он сгонял, как скот, на рыночную площадь Йонамиестиса всех евреев, которых он когда-то охранял и у которых не раз опохмелялся, не брезгуя закусывать и подозрительной мацой.

Впереди всех ковылял рабби Йехезкель с Черной и своим выводком.

— Успокойтесь! Положитесь на Господа! — твердил он.

— Сейчас Господь не тот, кто на небесах, а тот, в чьих руках автомат с полной обоймой, — проворчала Черна.

Сапожник Гедалье Казацкер по старой дружбе допытывался у автоматчика Гаршвы, куда тот их гонит.

— В рай, — с ухмылкой ответил Гаршва. — И чтобы не было обиды, всех разом — одним махом.

Менахем-цыган в рай попал не сразу — сперва из Йонамиестиса в каунасское гетто, а оттуда в Польшу, в лагерь.

Лагерь назывался невинно и звонко — Майданек.

От него до рая, как оказалось, было ближе, чем от родного дома до рыночной площади в Йонамиестисе. Каждый день под звуки бравурной музыки в рай отправлялись сотни.

Покойницкая команда, в которую кроме Менахема определили поляка Яцека, француза Жюстена и датчанина Харальда, каждое утро подкатывала к дверям битком набитого еврейками и цыганками женского барака и выносила из него свежие, еще не остывшие трупы голых, обезображенных голодом и побоями невольниц. Задыхаясь от ужаса и жалости, возчики сваливали белеющие, как сухие берёзовые поленья, тела на дно скрипучей, пропахшей тленом телеги и доставляли их в лагерьное чистилище — крематорий.

По ночам Менахема мучили кошмары — он представлял себе, как лежит на досках, голый, еще живой, под грудой покойников, как телега подъезжает к крематорию, как возчики хватают его за ноги и за руки и швыряют в зев пылающей, ненасытной печи. Менахем в ужасе вскакивал с нар, пялился в густую, как обувная вакса, вонючую темноту и на весь барак что есть мочи кричал:

— Что вы делаете?! Я еще живой! Живой!

После этих еженощных снов и ежедневных рейсов Менахему до дрожи хотелось, чтобы поскорей покончили и с ним. Он несколько не сомневался, что и ему давно уготовано место в покойницкой телеге и что никакого чуда не произойдет. Сегодня он, как в гроб, укладывает других, накрывает их рваной попоной, а завтра новая покойницкая команда швырнет его на дно телеги и повезет к печам.

Но уж так повелось на белом свете: когда изверишься во всем, когда смерть кажется Божьей милостью, как раз и случается чудо.

В начале второй лагерной зимы с ее жестокими морозами Менахем в женском бараке, куда он вместе с напарниками зашел за очередным грузом, вдруг увидел женщину и обомлел:

— Ильда! — окликнул он ее.

Одетая, как чучело, в какие-то топорщившиеся лохмотья, коротко, почти наголо остриженная, без своих латунных серёг в маленьких, заросших пушком ушах, в стоптанных, рваных ботинках, она даже не шелохнулась — стояла у нар и с напускным спокойствием смотрелась в осколок мутного, со стершейся амальгамой зеркала.

— Ильда!

Женщина обернулась, вытаращила на него свои огромные, цвета вишневого варенья глаза, оглядела и по-польски сказала:

— Pan parawno się romylil. (Пан, наверно, ошибся).

Она говорила отрывисто и неохотно, откровенно тяготясь его присутствием.

— Это я — Менахем. Ваш табор когда-то стоял в Литве... в нашем местечке... на косогоре. Ты мне еще гадала по руке...

— Po zydowsku, niestety, nie rozumię (По-еврейски я, к сожалению, не понимаю.)

— Я Менахем... Тот, кто выручил вас, когда ваша Зоська пала... Помнишь?

— Na Litwie nigde nie bylam. Cale zycia spędzilam na Śląsku. (В Литве я никогда не была... Всю жизнь жила в Силезии...)

— Ты мне тогда нагадала и любовь, и счастливое будущее. Все прелести жизни... всё, кроме Майданека, — не сдавался Менахем.

Но та, которую он назвал Ильдой, не откликнулась на его воспоминания. Она спрятала в лохмотья бог весть где раздобытый осколок зеркала и вприпрыжку, как зверек, пустилась к выходу:

— Przepraszam pana, pan mnie z kims pomylił. Szukajcie w drugim baraku swoje Ilde. Ważpię, ze vam uda. Tu ludzie prawie codzienie sie zmieniają — do niepoznania. (Простите, пан, с кем-то вы меня спутали. Поищите свою Ильду в другом бараке... Но вряд ли пану повезет. Тут люди даже за день меняются до неузнаваемости.)

— Ильда, Ильда, — повторял оцепеневший Менахем. — Он ни с кем не мог ее спутать. Ни с кем. Это, голову на отсечение, — она, это ее глаза, уши, походка, голос... Просто из гордости не желает признаться, не хочет, чтобы ее видели такой униженной и безобразной и больно жалили ненужной и обидной жалостью. Всё, что она кому-то когда-то нагадала — золотые горы, пиковые дамы, долголетие, светлое будущее — всё это чушь и неправда. А правда — вот она, вся на виду: эти нары, эти покойницкие возы, этот дым над лагерем... И в этом виноваты не гадалки и предсказатели. Виноват Господь Бог, который создал не человека, а зверя с человеческим лицом?

Отчужденность и замкнутость Ильды не остановили Менахема. Каждый день он захаживал в женский барак, расспрашивал о ней, словно провалившейся сквозь землю, но товарки только пожимали плечами.

— Еврейка? — спрашивали.

— Цыганка, — отвечал Менахем.

— Вчера какая-то дура повесилась в нужнике... Но кто именно — мы не знаем.

Он отказывался верить: нет, нет, это не она, это — другая. И всякий раз, подъезжая к женским баракам и загружая роковую фуру, он с какой-то суеверной опаской всматривался в лица уложенных покойниц — вдруг среди этой страшной поленицы обнаружит Ильду. И всякий раз, не найдя ее, Менахем заговорщическим шепотом благодарил отрешившегося от них Всевышнего за то, что Тот уберет её, и, может, когда на свете утихнет эта кровавая заваруха, всё вернется на круги своя, они встретятся, и она за лит снова погадает ему... Ведь за день до неузнаваемости меняются не только люди, но их судьба.

О своей «родственнице» он наводил справки даже в лагерной канцелярии.

Ответ был по-немецки краток и деловит:

— Ilda Balcerovich? Keine Angaben. (Никаких данных.)

За три недели до прихода Красной Армии-освободительницы до неузнаваемости изменилась и судьба Менахема. Решив избавиться от лишних свидетелей, лагерное начальство перевело возчиков мертвых в разряд мертвых. Первым в родное небо через печную трубу взмыл поляк Яцек. За ним — француз Жюстен и датчанин Харальд. Не замешкался и Менахем, который, легко и беспечально закутавшись, как в саван, в летучее газовое облако, растаял в предвечернем мареве.

С тех пор минула вечность. Но и сейчас, в ясную погоду, если запрокинуть голову, можно невооруженным глазом увидеть это облако, своими очертаниями похожее на резвую английскую лошадь. Менахем сидит на ней, натягивает поводья и во весь опор скачет в родной Йонамиестис, на косогор, к Ильдиному шатру, туда, где, давно забывши про кочевых цыган и про оседлых евреев, равнодушно, как земное время, течёт полноводная и кроткая Вилия. И лошадь, не касаясь копытами гибельной, чернеющей внизу земли, скачет и скачет в вольном небе.

Ноябрь-декабрь 2004